



СЕРГЕЙ



АКСАКОВ

Школьное  чтение



ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА



Одобрено
лучшими учителями



Издательство АСТ

Семейная хроника

Сергей Аксаков

Детские годы Багрова-внука

«АСТ»

1858

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Аксаков С. Т.

Детские годы Багрова-внука / С. Т. Аксаков — «АСТ»,
1858 — (Семейная хроника)

ISBN 978-5-17-102693-6

«Детские годы Багрова-внука» – вторая часть автобиографической трилогии («Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Воспоминания») русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859). В повести рассказывается о его детстве. «Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память?» – замечает автор во вступлении и с удивительной достоверностью описывает события порой совсем раннего детства, подробности жизни у бабушки и дедушки в имении Багрово, первые книжки, незабываемые долгие летние дни с ужением рыбы, ловлей перепелов, когда каждый день открывал «неизвестные прежде понятия» и заставлял перечувствовать не испытанные прежде чувства. Повествование ведется от лица Сергея Багрова, впечатлительного и умного мальчика, рано начинающего понимать, что не все так благостно и справедливо в этом мире...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-102693-6

© Аксаков С. Т., 1858
© АСТ, 1858

Содержание

К читателям	6
Вступление	7
Отрывочные воспоминания	8
Последовательные воспоминания	12
Дорога до Парашина	16
Парашино	23
Дорога из Парашина в Багрово	29
Багрово	33
Пребывание в Багрове без отца и матери	39
Зима в Уфе	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Сергей Тимофеевич Аксаков

Детские годы Багрова-внука

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Внучке моей

ОЛЬГЕ ГРИГОРЬЕВНЕ АКСАКОВОЙ

К читателям

Я написал отрывки из «Семейной хроники» по рассказам семейства гг. Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно: внук Степана Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов; я записал его рассказы с возможною точностью, а как они служат продолжением «Семейной хроники», так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, создающийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений, – то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая, по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица «Хроники» выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжение рассказа оставляют ее навсегда... Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей.

С. Аксаков

Вступление

Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всею яркостью красок, со всею живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

Отрывочные воспоминания

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесятых годов, предметы и образы, которые еще носят в моей памяти, – кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определённого значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабоосвещённой комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдаль, украдкой смотрящая на меня из-за дверей, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать вёрст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости: мне всё казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платьем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал.

Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Её образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдаётся в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть тёмное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце её (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Всё было незнакомо мне: высокая, большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых брёвен, сильный смолистый запах; яркое, кажется летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь гляжу на чёрную ее косу, растрепавшуюся по худому и жёлтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Zubovku, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведённый движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел побереечь сна бедной моей матери, тронул её рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на моё посвежее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым, широким, круглым дном и длин-

ною узенькою шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и висая в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которою курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые, длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать... Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после – ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряжённой лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу», – которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и наконец залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиною отчаянного положения, в котором я находился.

Я иногда лежал в забытии, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыханье было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, – что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора – по несомненным медицинским признакам, а окружающие – по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда её не оставляли. «Матушка Софья Николавна, – не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова, – перестань ты мучить своё дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь её, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать всё что может для моего спасенья, – и снова клала меня, бесчувственного, в крепительную ванну, вливая в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханьем – и я, после глубокого вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, всё это делал я, лежа в кровати, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное моё удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице.

Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени деревьев, и положили почти безжизненного. Я всё видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаявшуюся мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться – и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близёхонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слёзы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась богу и решила оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров: но всё это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно: оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне, в первое время моего выздоровления, до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать её слёз или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести её в другую комнату; но я, заметив это, пришёл в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лёжа в своей кровати и посадив к себе сестру, забавлял её разными игрушками или показываньем картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворённом прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая всё свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроватью. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я всё уже твёрдо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что, «верно, кому-нибудь больно» – мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка, который, весь дрожа и не твёрдо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или *сучал*, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платком. Мать приказала принести на блюдечке тёпленького молочка, и после многих попыток, толкая рыль-

цем слепого кутёнка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенков по целым часам со мной не расставался; кормить его по несколько раз в день сделалось моей любимой забавой; его называли Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровление моё считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божью, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Всё это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю моё спасение, кроме первой вышеприведённой причины, без которой ничто совершиться не могло, – неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый рейнвейн в Казани, почти за пятьсот вёрст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется доктора Рейслейна, за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов – и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера; точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор – не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.

Последовательные воспоминания

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе – решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тёсом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над землёй; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища – маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но не красив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шаффранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как говорили, более пятисот вёрст: несмотря на моё болезненное состояние, величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моём воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на меня полные напряженного внимания свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудрёного: рассказчику только пошёл пятый год, а слушательнице – третий.

Я сказал уже, что был робок и даже трусоват; вероятно, тяжкая и продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она, собственно, ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днём боялся тёмных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно тёмные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо неё, всегда зажимывал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всём случившемся и обо всём, слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то бельё. Она употребила все

усилия растолковать мне, что такие рассказы – вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и взяли с неё клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей всё наперекор. Через год её совсем отослали в деревню. Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто её не любила.

Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она ещё ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика! Наконец, «Зеркало добродетели» перестало поглощать моё внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде; тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за Домашний лечебник Бухана, но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, корни и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что всё это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо.

Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый, богатый холостяк, слышший очень умным и даже учёным человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериною Второй для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принёсших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже прибаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал займы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещённый других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел подать связку книг и подарил мне... о счастье!.. «Детское чтение для сердца и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяйина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в

свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть – и позабыл всё меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери всё происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскиали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слёзы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слёз, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому иступлённому чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочёл все с небольшим в месяц. В детском уме моём произошёл совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громах», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали ещё любопытнее. Муравьи, пчёлы и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку – овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!

С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днём. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость; но когда опасность миновалась – общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление: у нее заболела грудь, бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние; те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить её. Я услышал, как она говорила моему отцу, что у неё начинается чахотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю, притворно или искренне, но мой отец и доктора уверяли её, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чахотка какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиною болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать, но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и не трудно при её беспредельной нравственной власти надо мною.

Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решила ехать в Оренбург, чтоб посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всём крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с весёлым видом и уверила, что возвратится здоровою. Я совершенно поверил, успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтоб она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а притом куда девать, на кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и наконец узнал, что дело уладилось: денег дал тот же мой книжный благодетель С. И. Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решились завезти в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохрани-

лось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил; его рассказы о ней и ещё более о Багрове, обещавшие множество новых, ещё неизвестных мне удовольствий, воспламенили моё ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог: в первый мой приезд в Багрово мне было восемь месяцев; но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех: уложил свои книжки, то есть «Детское чтение» и «Зеркало добродетели», в которое, однако, я уже давно не заглядывал; не забыл также и чурочки, чтоб играть ими с сестрицей; две книжки «Детского чтения», которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить Сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомлённая сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я хотя не мог понять выражения этого взгляда, но был поражён им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать; но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую – читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою; я повиновался и медленно пошёл назад: какая-то грусть вдруг отравила мою весёлость, и даже мысль, что мне поручают мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались ещё несколько дней, наконец всё было готово.

Дорога до Парашина

В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного: напоили чаем за маленьким нашим столиком; подали карету к крыльцу, и, помолившись богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать; рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей, я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком.

Здесь начинается ряд ещё не испытанных мною впечатлений. Я не один уже раз переправлялся через Белую, но, по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту, ничего этого не заметил и не почувствовал; теперь же я был поражён широкою и быстрою рекою, отлогими песчаными её берегами и зелёною урёмой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую косную лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки; перевозчики в пёстрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей; вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понёс прямо по воде в лодку, а отец пошёл рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я, по своей трусости, от которой ещё не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в вёсла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились, кормчий громко сказал: «Призывай бога на помощь», и лодка полетела поперёк реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся «стремя». Я был так поражён этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся, но это было не совсем справедливо: я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, отлогому берегу и, по мелкому месту, пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился, и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые, чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую верёвку к пристани и крепко привязал к причалу; другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всём наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковёр и подушки, мы разостлали их на сухом песке, подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них, меня же отец повёл набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришёл в восхищение, когда отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой; в этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые и после долго у нас хранились и которые можно назвать редкостью; это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры совершенно превратившаяся в камень. Переправа кареты, кибитки и девяти лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков; но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только десятка полтора, сказав, что все остальные дрянь; я доказывал про-

тивное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Мать как будто освежилась на открытом воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы; камешки очень понравились моей сестрице, и некоторые из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящиков, один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои сокровища.

Сначала дорога шла лесистой урёмой; огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своею громадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству; дорога была песчана, мы ехали шагом, люди шли пешком; они срывали мне листья и ветки с разных деревьев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав вёрст пятнадцать, остановились покормить лошадей собственно для того, чтоб мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормёжка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню; но зато отец обещал мне на другой день кормёжку на реке Дёме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его же рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лёсы; я сам держал связанные волосы, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лёсою. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своей коленке толстые лёсы для крупной рыбы; грузила и крючки, припасённые заранее, были прикреплены и навязаны, и все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твёрдо выучивал их названия! Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле; итак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночёвки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости; но место было необыкновенно сухо, никаких болот, и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь; даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище; отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь: один принёс сухую жердь от околицы, изрубил её на поленья, настрогал стружек и наколот лучины для подтопки, другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий, именно повар Макей, достал кремень и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю (ее возили нарочно с собой для таких случаев), взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула; тогда подложили огонь под готовый костёр дров со стружками и лучиной — и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар; на разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай; она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонёк возле того места, где мы сидели, и когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу; я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бастыльнику для поддержания яркого пламени и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар.

Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец – в кибитке. Мать скоро легла и положила с собой мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки; но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормёжке, которую я ожидал с радостным нетерпением; но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звёздами, воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав, речка журчала в овраге, костёр пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашницей, хлебали её и весело разговаривали между собою; лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосой света... «Не пора ли спать тебе, Серёжа?» – сказал мой отец после долгого молчания; поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтоб не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смещении все картины и образы, носившиеся предо мною. А что же будет завтра, на чудесной Дёме... Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении.

С ночёвки поднялись так рано, что ещё не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел, будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас; потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать сорок вёрст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись, даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворённое окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились и все вышли из кареты, чтоб переладить в ней ночное устройство на дневное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон; кое-где виднелись деревья и синелось что-то вдаль; отец мой сказал, что там течет Дёма и что это синееется ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какую описывал ее мне отец и какою я после сам узнал её: по долочкам трава была скошена и смётана в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела, и уже сизый ковыль, еще не совсем распутившийся, ещё не побелевший, расстилался, как волны, по необозримой равнине; степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины; отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтал о вчерашнем дне; она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть «Детского чтения» и стал читать, но был так развлечён, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием и, читая громко вслух: «Канарейки, хорошие канарейки, так кричал мужик под Машиным окошком» и проч., я думал о другом и всего более о текущей там, вдалеке, Дёме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющею в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу; дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эх вы, милые, пошевеливайтесь! Недалеко до Дёмы!..» И добрые кони наши побежали крупною рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую урёму. «А вон, Серёжа, – сказал отец, выглянув в окно, – видишь, как прямо к Дёме идёт тоже зеленая полоса и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши? Это башкирские войлочные кибитки,

в которых они живут по летам, это башкирские «кочи». Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну, да когда-нибудь после». Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слышал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озёр, и прежнее русло Дёмы, по которому она текла некогда, которое тянулось длинным рукавом и называлось *Старицей*. Спуск в широкую зелёную долину был крут и косогорист; надобно было тормозить карету и спускаться осторожно; это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормёжки. Мне велели сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя уgomониться. Но вот мы наконец на берегу Дёмы, у самого перевоза; карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я – и так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том и на мои просьбы идти поскорее удить сказал мне, чтоб я не торопился и подождал, покуда он всё уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. «А ты погуляй покуда с Ефремом, посмотри на перевоз да червячков приготовь». Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая, полноводная Дёма, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенною красотой, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу, к ним крепко был привязан мокрый канат толщиной в руку; по канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утверждённый на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там «комьями». Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плот с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы, в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем, или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошёл со мною на плот и сказал одному башкирцу: «Айда знаком, гуляй на другой сторона». И башкирец очень охотно, отвязав плот от причала, засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки; через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеич, всё держа меня за руку, походя по берегу, повысмотрев выгодных мест для ужения, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетёном шалаше; немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он: где бы отыскать нам червячков для ужения. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идёт дело, и отвечал: «Екши, екши, бачка, ладно! Айда», – и повёл нас под небольшую поветь, под которой стояли две лошади в защите от солнца: там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что всё было устроено: мать расположилась в тени кудрявого осокоря, погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне, не забыли и овса, а свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урёма окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как брёвна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами; кисти рябины и калины начинали краснеть; кусты чёрной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах; гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, ещё зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались; даже малины было много. На всё это очень любовался и указывал мне отец; но, признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружающую меня пышную и красивую урёму. Как только

мы напились чаю, я стал просить отца, чтоб он показал мне ужение. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилиц, наплавки сделали из толстого зелёного камыша, лёсы привязали и стали удить с плота, поверя словам башкирцев, что тут «ай-ай, больно хороша берёт рыба». Евсеич приготовил мне самое легонькое удилице и навязал тонкую лёсу с маленьким крючком; он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилице в правую руку, а за левую крепко держал меня отец: ту же минуту наплавков привстал и погрузился в воду, Евсеич закричал: «Тащи, тащи...» — и я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать её матери; Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, чтоб я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял её, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку; Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к ужению, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость; а к большому горю, мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлет Серёжу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар; слёзы так и брызнули из моих глаз, но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя отец сам пришёл за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что, отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать ещё несколько рыбок, и мать, хотя не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца! Я не знаю, что бы сделалось со мной, если б меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как ужение было всего шагах в пятидесяти, то отпустили и её с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотниц, которых он выудил без меня: другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко, как объяснял мне Евсеич. Я выудил ещё несколько плотичек, и всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую. Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились. Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней, а всю остальную рыбу отдал людям, чтоб они сварили себе уху.

Ужение просто свело меня с ума! Я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать; но отец уверял её, что это случилось только в первый раз и что горячность моя пройдет; я же был уверен, что никогда не пройдет, и слушал с замирающим сердцем, как решается моя участь. Удочка, дрожащий и ныряющий наплавок, согнутое от тяжести удилице, рыба, трепещущая на лёсе, приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Всё остальное время на кормёжке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны. В таком расположении духа отправились мы в дальнейший путь. Мать дорогой принялась мне растолковывать, почему не хорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это вредно для здоровья, даже опасно; она говорила, что, забывая все другие занятия для какой-нибудь охоты, и умненький мальчик может поглупеть, и что вот теперь, вместо того чтоб весело смотреть в окошко, или читать книжку, или разговаривать с отцом и матерью, я сижу молча, как будто опущенный в воду. Всё это она говорила и нежно и ласково, и я как будто почувствовал правду её слов, успокоился несколько и начал вслух читать свою книжку. Между тем к вечеру пошёл дождь, дорога сделалась грязна и тяжела; высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колёсам и потом отваливалась от них толстыми пластами; мне это было любопытно и весело, а лошадам нашим накладно, и они начинали приставать. Кучер Трофим, наклонясь к переднему окну, сказал моему отцу, что дорога стала тяжела, что нам

не доехать засветло до Парашина, что мы больно запоздаем и лошадей *перегоним*, и что не прикажет ли он заехать для ночёвки в чувашскую деревню, мимо околицы которой мы будем проезжать. Отец мой и сам уже говорил об этом; мы поутру проехали сорок верст да после обеда надо было проехать сорок пять – это было уже слишком много, а потому он согласился на предложение Трофима. Хотя матери моей и не хотелось бы ночевать в Чуваших, которые по неопрятности своей были ей противны, но делать было нечего, и последовало приказание: завернуть в чувашскую деревню для ночёвки. Мы не доехали до Парашина пятнадцати верст. Через несколько минут своротили с дороги и въехали в селение без улиц; избы были разбросаны в беспорядке; всякий хозяин поселился там, где ему угодно, и к каждому двору был свой проезд. Солнце, закрытое облаками, уже садилось, дождь продолжался, и наступали ранние сумерки; мы были встречены страшным лаем собак, которых чувашаи держат еще больше, чем татары. Лай этот, неумолкаемо продолжавшийся и во всю ночь, сливался тогда с резким бормотаньем визгливых чувашек, с звяканьем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтоб избавиться от постояльцев. Долго звенела в ушах у нас эта пронзительная музыка. Наконец отыскивали выборного, как он ни прятался, должность которого на этот раз за отсутствием мужа исправляла его жена чувашка; она отвела нам квартиру у богатого чувашенина, который имел несколько изб, так что одну из них очистили совершенно для нас. В карете оставаться было сыро, и мы немедленно вошли в избу, уже освещённую горячей лучиной. Тут опять явились для меня новые, невиданные предметы: прежде всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин: они ходят в белых рубашках, вышитых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а головы их и грудь увешаны серебряными, и крупными и самыми мелкими, деньгами: всё это звенит и брякает на них при каждом движении. Потом изумили меня огромная изба, закопчённая дымом и покрытая лоснящейся сажей с потолка до самых лавок, – широкие, устланные поперек досками лавки, называющиеся «нарами», печь без трубы и, наконец, горящая лучина вместо свечи, ущемлённая в так называемый светец, который есть не что иное, как железная полоска, разрубленная сверху натрое и воткнутая в деревянную палку с подножкой, так что она может стоять где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но только пахло дымом, и непротивно. Мы расположились очень удобно на широких нарах. Отец доказывал матери моей, что она напрасно не любит чувашских деревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких широких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в мордовских и особенно русских; но мать возражала, что чувашаи сами очень неопрятны и гадки; против этого отец не спорил, но говорил, что они предобрые и пречестные люди. Светец, с ущемлённой в него горячей лучиной, которую надобно было беспрестанно заменять новою, обратил на себя мое особенное внимание; иные лучины горели как-то очень прихотливо: иногда пламя пылало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось и вдруг опять сильно вспыхивало; обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, и звеня, и ломаясь; иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика, вправо или влево. Отец растолковал мне, что это была струйка не дыма, а пара от сырости, находившейся в лучине. Всё это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину. Мы все провели ночь очень спокойно под своими пологам, без которых мы никуда не ездили. Ночью дождь прошёл; хотя утро было прекрасное, но мы выехали не так рано, потому что нам надобно было переехать всего пятнадцать вёрст до Парашина, где отец хотел пробыть целый день. Слыша часто слово «Парашино», я спросил, что это такое? и мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тётке моего отца, Прасковье Ивановне Куролесовой, и что мой отец должен был осмотреть в нём все хозяйство и написать своей тётушке, всё ли там хорошо, всё ли в порядке. Вёрст за восемь до села пошли парашинские поля, покрытые спелой, высокою и густой рожью, которую уже начали жать. Поля казались

так обширны, как будто им и конца не было. Отец мой говорил, что он и не видывал таких хлебов и что нынешний год урожай отличный. Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца; воткнув серпы свои в сжатые снопы, они начали выбегать к карете. Отец велел остановиться. По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселы; человек двадцать окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степаныч! – заговорил один крестьянин постарше других, который был десятником, как я после узнал, – давно мы тебя не видали. Матушка Прасковья Ивановна отписала к нам, что ты у нас побываешь. Насилу мы тебя дождались». Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним и привёз свою хозяйку и детей. Мать выглянула из окна и сказала: «Здравствуйте, мои друзья!» Все поклонились ей, и тот же крестьянин сказал: «Здравствуй, матушка Софья Николавна, милости просим. А это сынок, что ли, твой?» – продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын, Серёжа, а дочка спит», – отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеичем, чего я до тех пор не слыхивал. «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степаныч», – сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлён, я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал; слышал только, как ему отвечали, что, слава богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знай, как и совладать, потому что много народу хворают. Когда же мой отец спросил, отчего в праздник они на барщине (это был первый Спас, то есть первое августа), ему отвечали, что так приказал староста Мироныч; что в этот праздник точно прежде не работали, но вот уже года четыре как начали работать; что все мужики постарше и бабы-ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут, и что в поле остался только народ молодой, всего серпов с сотню, под присмотром десятника. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места, и, высунувшись из окна, кричал: «Прощайте, прощайте!» Отец и мать улыбались, глядя на меня, а я, весь в движении и волнении, принялся расспрашивать: отчего эти люди знают, как нас зовут? Отчего они нам рады и за что они нас любят? Что такое барщина? Кто такой Мироныч? и проч. и проч. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам, мать помогла ему, и мне отвечали, что в Парашине половина крестьян родовых багровских, и что им хорошо известно, что когда-нибудь они будут опять наши; что его они знают потому, что он ездил в Парашино с тётушкой, что любят его за то, что он им ничего худого не делал, и что по нём любят мою мать и меня, а потому и знают, как нас зовут. Что такое староста Мироныч – я хорошо понял, а что такое барщина – по моим летам понять мне было трудно.

В этот раз, как и во многих других случаях, не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя тёмными и нерешёнными, а всегда объяснял по-своему: так обыкновенно поступают дети. Такие объяснения надолго остаются в их умах, и мне часто случалось потом, называя предмет настоящим его именем, заключающим в себе полный смысл, – совершенно его не понимать. Жизнь, конечно, объяснит всё, и знание ошибки бывает часто очень забавно, но зато бывает иногда очень огорчительно.

После ржанных хлебов пошли яровые, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением: «Не успеют нынче убраться с хлебом до ненастья; рожь поспела поздно, а вот уже и яровые поспевают. А какие хлеба, в жизнь мою не видывал таких!» Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца. Не понимая, как и почему, но и мне было жалко, что не успеют убраться с хлебом.

Парашино

С плоской возвышенности пошла дорога под изволок, и вот наконец открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашино, с каменной церковью и небольшим прудом в овраге. Господское гумно стояло, как город, построенный из хлебных кладей, даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил: «Вот крестьяне, так крестьяне! Сердце радуется!» Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец мы въехали в село. В самое это время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом с кадилом, образами и хоругвями и сопровождаемый огромною толпою народа, шёл из церкви для совершения водосвящения на иордани. Пение дьячков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках врвалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на невиданное ею зрелище; мне же хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но тем не менее я смотрел на него с восхищением.

После водосвятия, приложившись ко кресту, окроплённые святой водою, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесною толпою, и все были так же веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитве; многие старики протеснились вперёд, кланялись и здоровались с нами очень ласково; между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась, а мужик с страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: «Милости просим, батюшка Алексей Степаныч и матушка Софья Николавна!» Мы вошли во флигель; там было как будто всё приготовлено для нашего приезда, но после я узнал, что тут всегда останавливался наезжавший иногда главный управитель и поверенный бабушки Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой, а все прочие с благоговением величали Михайлом Максимовичем, и вот причина, почему флигель всегда был прибран. Из слов отца я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мируныч, о котором я расспрашивал еще в карете. Отец мой осведомлялся у него обо всём, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовёт его, когда будет нужно, и приказав, чтоб некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я ни был мал, но заметил, что Мируныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал «слушаю-с», что я как теперь слышу этот звук, который ясно выражал: «Нехорошо вы это делаете». Когда он ушёл, я услышал такой разговор между отцом и матерью, который привел меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мируныч должен быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то; что он и прежде слышал об нём много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тётушка Прасковья Ивановна во всём Михайлушке верит; что он велел послать к себе таких стариков из багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст, и что Мирунычу было это невкусно. Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы, и приглашал с собою мою мать; но она решительно отказалась, сказав, что она не любит смотреть на них и что если он хочет, то может взять с собой Серёжу. Я обрадовался, стал проситься; отец охотно согласился. «Да, вот мы с Серёжей, – сказал мой отец, – после чаю пойдем осматривать конный завод, а потом пройдем на родники и на мельницу». Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце

господского двора, поросшего травой. У входа в конюшни ожидал нас, вместе с другими конюхами, главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда очень мне понравился; он был особенно ласков со мною. Не успели мы войти в конюшни, как явился противный Мироныч, который потом целый день уже не отставал от отца. Мы вошли широкими воротами в какое-то длинное строение; на обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево, в особых отгородках, стояли старые большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот, на стене, висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные и застоявшиеся, ржали, подымались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правою рукою за узду. Я робел и прижимался к отцу; но когда пускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной верёвке вокруг державших её конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить — я очень ими любовался. Мироныч во всё совался, и мне было очень досадно, что он называл Ковлягу Гришка Ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. «А где пасутся табуны?» — спросил мой отец у Ковляги. Мироныч отвечал, что один пасётся у «Кошелги», а другой у «Каменного врага», и прибавил: «Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степаныч, поглядеть господские ржаные и яровые хлеба и паровое поле (мы завтра отслужим молебен и начнем сев), то не прикажете ли подогнать туда табуны? Там будет уж недалеко». Отец отвечал: «Хорошо». С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые; а я не мог без восхищения видеть даже бегущей по улицам воды, и потому великолепные парашинские родники, которых было больше двадцати, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей; в срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались пустыми; вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянною бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с ведрами, оттыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая била дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли, на больших каменных плитах (бока оврага состояли все из дикого плитняка). В одну минуту наполнялось одно ведро, а потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам; между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки: эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз, они мне очень понравились; я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец, и я долго надоедал ему вопросами, что за зверь чёрт, имеющий такие крепкие пальцы? Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешёл опять к новым если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям: отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок; овраг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина; посредине её стояла мельничная амбарушка; в ней находился один мукомольный постав, который молот хорошо только в полую воду, впрочем, не оттого, чтобы мало было воды в пруде, как объяснил мне отец, а оттого, что вода шла везде сквозь плотину. Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, всё в брызгах и пене; шум воды смешивался с каким-то другим гуденьем и шипеньем. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий сверху и узенький внизу, как я увидал после, в который всыпают хлебные зерна.

Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жернов и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зёрна, попадавшие под камень; вертясь и раздавливая зёрна, жернов, окружённый лубочной обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утверждённый на ней камень; амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках; долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли засыпкой, седой и хворый, молол всякое хлебное ухвостье для посыпки господским лошадям; он был весь белый от мучной пыли; я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу: противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать. Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтоб больного старичка положили в постель и напоили чаем; отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, сказал: «Засыпка, Василий Терентьев, больно стар и хвор; кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится; его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не наряжать в засыпки». – «Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч, – отвечал Мироныч, – да не будет ли другим обидно? Его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов и лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять?» Отец отвечал, что не все же старики хворы, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. «Ведь ты и сам скоро состаришься, – сказал мой отец, – тоже будешь дармоедом и тогда захочешь покою». Мироныч отвечал: «Слушаю-с; по приказанию вашему будет исполнено; а этого-то Василья Терентьева и не надо бы миловать: у него внук буян и намнясь чуть меня за горло не сгреб». Отец мой с сердцем отвечал, и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал: «Так ты за вину внука называешь больного дедушку? Да ты взыскивай с виноватого». Мироныч проворно подхватил: «Будьте покойны, батюшка Алексей Степаныч, будет исполнено по вашему приказанию». Не знаю отчего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который видел, что мы остановились, и побрёл было к нам, услышав такие речи, сам остановился, трясаясь всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы взойшли на гору, я оглянулся – старик всё стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке. Мать очень горячо приняла мой рассказ: сейчас хотела призвать и разбранить Мироныча, сейчас отставить его от должности, сейчас написать об этом к тётушке Прасковье Ивановне... и отцу моему очень трудно было удержать её от таких опрометчивых поступков. Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл, и у меня остались в памяти только отцовы слова: «Не вмешивайся не в своё дело, ты всё дело испортишь, ты всё семейство погубишь, теперь Мироныч не тронет их, он все-таки будет опасаться, чтоб я не написал к тётушке, а если пойдет дело на то, чтоб Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего, пользы не будет, да, пожалуй, и тётушка ещё прогневается». Мать поспорила, но уступила. Боже мой! Какое смешение понятий произошло в моей ребячьей голове! За что страдает больной старичок, что такое злой Мироныч, какая это сила Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится? Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей, и я разрешил себе их тем, что Михайлушка и бабушка недобрые люди и что мой отец их боится.

Чёртовы пальцы я отдал милой моей сестрице, которая очень скучала без меня. Мы присоединили новое сокровище к нашим прежним драгоценностям – к чуркам и камешкам с

реки Белой, которые я всегда называл «штуфами» (это слово я перенял у старика Аничкова). Я пересказал сестрице с жаром о том, что видел. Я постоянно сообщал ей обо всём, что происходило со мной без неё. Теперь я стал замечать, что сестрица моя не всё понимает, и потому, перенимая речи у няньки, старался говорить понятным языком для маленького дитяти.

После обеда на длинных крестьянских ропусках отправились мы с отцом в поле; противный Мироныч также присел с нами. Я ехал на ропусках в первый раз в моей жизни, и мне очень понравилась эта езда; сидя в сложенной вчетверо белой кошме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном сучке. По колеям степной дороги ропуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлестали меня по ногам и рукам, и это меня очень забавляло. Я даже успевал срывать цветочки. Но я заметил, что для больших людей так сидеть неловко потому, что они должны были не опускать своих ног, а вытягивать и держать их на воздухе, чтоб не задевать за землю; я же сидел на ропусках почти с ногами, и трава задевала только мои башмаки. Когда мы проезжали между хлебов по широким межам, заросшим вишенником с красноватыми ягодами и бобовником с зеленоватыми бобами, то я упросил отца остановиться и своими руками нарвал целую горсть диких вишен, мелких и жёстких, как крупный горох; отец не позволил мне их отведать, говоря, что они кислы, потому что не поспели; бобов же дикого персика, называемого крестьянами бобовником, я нащипал себе целый карман; я хотел и ягоды положить в другой карман и отвезти маменьке, но отец сказал, что «мать на такую дрянь и смотреть не станет, что ягоды в кармане раздавятся и перепачкают мое платье и что их надо кинуть». Мне жаль было вдруг расстаться с ними, и я долго держал их в своей руке, но наконец принужден был бросить, сам не знаю, как и когда.

В тех местах, где рожь не наклонилась, не вылегла, как говорится, она стояла так высоко, что нас с ропусками и лошадьми не было видно. Это новое зрелище тоже мне очень нравилось. Долго мы ехали межами, и вот начал слышаться издалека какой-то странный шум и говор людей; чем ближе мы подъезжали, тем становился он слышнее, и, наконец, сквозь несжатую рожь стали мелькать блестящие серпы и колосья горстей срезанной ржи, которыми кто-то взмахивал в воздухе; вскоре показались плечи и спины согнувшихся крестьян и крестьянок. Когда мы выехали на десятину, которую жали человек с десять, говор прекратился, но зато шарканье серпов по соломе усилилось и наполняло всё поле необыкновенными и неслышанными мною звуками. Мы остановились, сошли с ропусков, подошли близко к жнецам и жницам, и отец мой сказал каким-то добрым голосом: «Бог на помощь!» Вдруг все оставили работу, обернулись к нам лицом, низко поклонились, а некоторые крестьяне, постарше, поздоровались с отцом и со мной. На загорелых лицах была написана радость, некоторые тяжело дышали, у иных были обвязаны грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах, но все были бодры. Отец мой спросил: сколько людей на десятине? не тяжело ли им? и, получив в ответ, что «тяжеленько, да как же быть, рожь сильна, прихватим вечера...» – сказал: «Так жните с богом...» – и в одну минуту засверкали серпы, горсти ржи замелькали над головами работников, и шум от резки жёсткой соломы еще звучнее, сильнее разнёсся по всему полю. Я стоял в каком-то оцепенении. Вдруг плач ребенка обратил на себя мое внимание, и я увидел, что в разных местах, между трёх палочек, связанных вверху и воткнутых в землю, висели люльки; молодая женщина воткнула серп в связанный ею сноп, подошла не торопясь, взяла на руки плачущего младенца и тут же, присев у стоящего пята снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью своё дитя. Ребёнок скоро успокоился, заснул, мать положила его в люльку, взяла серп и принялась жать с особенным усилием, чтобы догнать своих подруг, чтоб не отстать от других. Отец разговаривал с Миронычем, и я имел время всмотреться во всё меня окружающее. Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряженьем сил, на солнечном зное, обхватило мою душу, и, много

раз потом бывая на жнитве, я всегда вспоминал это первое впечатление... С этой десятины поехали мы на другую, на третью и так далее. Сначала мы вставали с роспусков и подходили к жнецам, а потом только подъезжали к ним; останавливались, отец мой говорил: «Бог на помощь». Везде было одно и то же: те же поклоны, те же добрые обрадованные лица и те же простые слова: «Благодарствуем, батюшка Алексей Степаныч». Останавливаться везде было невозможно, недостало бы времени. Мы объехали яровые хлеба, которые тоже начинали поспевать, о чем отец мой и Мироныч говорили с беспокойством, не зная, где взять рук и как убратъся с жнитвом. «Вот она, страда-то, настоящая-то страда, батюшка Алексей Степаныч, – говорил главный староста. – Ржи поспели поздно, яровые, почитай, поспевают, уже и поздние овсы стали мешаться, а пришла пора сеять. Вчера бог дал такого дождика, что борозду пробил; теперь земля сыренька, и с завтрашнего дня всех мужиков погоню сеять; так извольте рассудить: с одними бабами не много нажнёшь, а ржи-то осталось половина не сжатой. Не позволите ли, батюшка, сделать лишний сгон?» Отец отвечал, что крестьянам ведь также надо убираться, и что отнять у них день в такую страдную пору дело нехорошее, и что лучше сделать помочь и позвать соседей. Староста начал было распространяться о том, что у них соседи дальние и к помочам непривычные; но в самое это время подъехали мы к горохам и макам, которые привлекли мое внимание. Отец приказал Миронычу сломить несколько ещё зелёных головок мака и выдрать с корнем охапку гороха с молодыми стручками и лопатками; всё это он отдал в моё распоряжение и даже позволил съесть один молоденький стручок, плоские горошинки которого показались мне очень сладкими и вкусными. В другое время это заняло бы меня гораздо сильнее, но в настоящую минуту ржаное поле с жнецами и жнищами наполняло моё воображение, и я довольно равнодушно держал в руках за тонкие стебли с десятков маковых головок и охапку зелёного гороха. Возвращаясь домой, мы заехали в паровое поле, довольно заросшее зелёным осотом и козлецом, за что отец мой сделал замечание Миронычу; но тот оправдывался дальностью полей, невозможностью гонять туда господские и крестьянские стада для толоки, и уверял, что вся эта трава подрежется сохами и больше *не отпрыгнет*, то есть не вырастет. Несмотря на все это, отец мой остался не совсем доволен паровым полем, сказал, что пашня местами мелка и борозды редки – отчего и травы много. Солнце опускалось, и мы едва успели посмотреть два господских табуна, нарочно подогнанные близко к парю. В одном находилось множество молодых лошадок всяких возрастов и матерей с жеребятками, которые несколько отвлекли меня от картины жнитва и развеселили своими прыжками и ласками к матерям. Другой табун, к которому, как говорили, и приближаться надо было с осторожностью, осматривал только мой отец, и то ходил к нему пешком вместе с пастухами. Там были какие-то дикие и злые лошади, которые бросались на незнакомых людей. Уже стало темно, когда мы воротились. Мать начинала беспокоиться и жалеть, что меня отпустила. В самом деле, я слишком утомился и заснул, не дождавшись даже чаю.

Проснувшись довольно поздно, потому что никто меня не будил, я увидел около себя большие суеты, хлопоты и сборы. К отцу пришли многие крестьяне с разными просьбами, которых исполнить Мироныч не смел, как он говорил, или, всего вернее, не хотел. Это узнал я после, из разговоров моего отца с матерью. Отец, однако, не брал на себя никакой власти и всё отвечал, что тётушка приказала ему только осмотреть хозяйство и обо всём донести ей, но входить в распоряжения старосты не приказывала. Впрочем, наедине с Миронычем, я сам слышал, как он говорил, что для одного крестьянина можно бы сделать то-то, а для другого то-то. На такие речи староста обыкновенно отвечал: «Слушаю, будет исполнено», – хотя мой отец несколько раз повторял: «Я, братец, тебе ничего не приказываю, а говорю только, не рассудишь ли ты сам так поступить? Я и тётушке донесу, что никаких приказаний тебе не давал, а ты на меня не ссылайся». К матери моей пришло еще более крестьянских баб, чем к отцу крестьян: одни тоже с разными просьбами об оброках, а другие с разными

болезнями. Здоровых мать и слушать не стала, а больным давала советы и даже лекарства из своей дорожной аптечки. Накануне вечером, когда я уже спал, отец мой виделся с теми стариками, которых он приказал прислать к себе; видно, они ничего особенно дурного об Мироныче не сказали, потому что отец был с ним ласковее вчерашнего и даже похвалил его за усердие. Священник с попадѣй приходили прощаться с нами и отозвались об Мироныче одобрительно. Священник сказал, между прочим, что староста – человек подвластный, исполняет, что ему прикажут, и прибавил с улыбкой, что «един бог без греха и что жаль только, что у Мироныча много родни на селе и он до неё ласков». Я не понял этих слов и думал, что чем больше родни у него и чем он ласковее к ней – тем лучше. Не знаю отчего, сборы продолжались очень долго, и мы выехали около полдѣн. Мироныч и несколько стариков, с толпою крестьянских мальчиков и девочек, проводили нас до околицы. Нам надобно было проехать сорок пять вѣрст и ночевать на реке Ик, о которой отец говорил, что она не хуже Дѣмы и очень рыбна; приятные надежды опять зашевелились в моей голове.

Дорога из Парашина в Багрово

Дорога удивительное дело! Её могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, всё равно, любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминание прошедшего и, наконец, на мечты и надежды – в будущем; и всё это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Точно то было тогда со мной. Сначала смешанною толпою новых предметов, образов и понятий роились у меня в голове: Дёма, ночёвка в Чуваших, родники, мельница, дряхлый старичок-засыпка и ржаное поле со жнищами и жнецами, потом каждый предмет отделился и уяснился, явились тёмные, не понимаемые мной места или пятна в этих картинах; я обратился к отцу и матери, прося объяснить и растолковать их мне. Объяснения и толкования показались мне неудовлетворительными, вероятно потому, что со мной говорили, как с ребёнком, не замечая того, что мои вопросы были гораздо старше моего возраста. Наконец я обратился к самому свежему предмету моих недоумений: отчего сначала говорили об Мироныче, как о человеке злом, а простились с ним, как с человеком добрым? Отец с матерью старались растолковать мне, что совершенно добрых людей мало на свете, что парашинские старики, которых отец мой знает давно, люди честные и правдивые, сказали ему, что Мироныч начальник умный и распорядительный, заботливый о господском и о крестьянском деле; они говорили, что, конечно, он потакает и потворствует своей родне и богатым мужикам, которые находятся в милости у главного управителя, Михайлы Максимыча, но что как же быть? свой своему поневоле друг, и что нельзя не уважить Михайле Максимычу; что Мироныч хотя гуляет, но на работах всегда бывает в трезвом виде и не дерётся без толку; что он не поживился ни одной копейкой, ни господской, ни крестьянской, а наживает большие деньги от дёгтя и кожевенных заводов, потому что он в части у хозяев, то есть у богатых парашинских мужиков, промысляющих в башкирских лесах сидкою дёгтя и покупкою у башкирцев кож разного мелкого и крупного скота; что хотя хозяевам маленько и обидно, ну, да они богаты и получают большие барыши. В заключение старики просили, чтоб Мироныча не трогать и что всякий другой на его месте будет гораздо хуже. Такое объяснение, на которое понадобилось ещё много новых объяснений, очень меня озадачило. Житейская мудрость не может быть понимаема дитятей; добровольные уступки несовместны с чистотой его души, и я никак не мог примириться с мыслью, что Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком. Наконец я надоел своими вопросами, и мне приказали или читать книжку, или играть с сестрицей. Книжка не шла мне в голову, и я принялся разбирать свои камешки и чёртовы пальцы, показывая, называя и рассказывая об их качествах моей сестре.

Переезд опять был огромный, с лишком сорок вёрст. Сначала, верстах в десяти от Парашина, мы проехали через какую-то вновь селившуюся русскую деревню, а потом тридцать вёрст не было никакого селения и дорога шла по ровному редколесью; кругом виднелись прекрасные рощи, потом стали попадаться небольшие пригорки, а с правой стороны потянулась непрерывная цепь высоких и скалистых гор, иногда покрытых лесом, а иногда совершенно голых. Спускаясь с пологого ската, ведущего к реке Ик, надобно было проезжать мимо чувашско-мордовской и частью татарской деревни, называющейся Ик-Кармала, потому что она раскинулась по пригоркам речки Кармалки, впадающей в Ик, в полуторе версте от деревни. Мы остановились возле околицы, чтоб послать в Кармалу для закупки овса и съестных припасов, которые люди наши должны были привезти нам на ночёвку, назначенную на берегу реки Ик. Солнце стояло ещё очень высоко; было так жарко, как среди лета.

Вдруг мать начала говорить, что не лучше ли ночевать в Кармале, где воздух так сух, и что около Ика ночью непременно будет сыро. Я так и обмер. Отцу моему также было это неприятно, но он отвечал: «Как тебе угодно, матушка». Мать высунулась из окна, посмотрела на рассеянные чувашские избы и, указав рукою на один двор, стоявший отдельно от прочих и заключавший внутри себя небольшой холм, сказала: «Вот где я желала бы остановиться». Препятствий никаких не было. Богатый чувашенин охотно пустил нас на ночлег, потому что мы не требовали себе избы, и мы спокойно въехали на огромный, ещё зелёный двор и поставили карету, по желанию матери, на самом верху холма или пригорка. Вид оттуда был очень хорош на всю живописную окрестность речки Кармалки и зелёную урему Ика, текущего в долине. Но мне было не до прекрасных видов! Все мои мечты поудить вечером, когда, по словам отца, так хорошо клюет рыба на такой реке, которая не хуже Дёмы, разлетелись как дым, и я стоял, точно приговоренный к какому-нибудь наказанию. Вдруг голос отца вывел меня из отчаянного положения. «Серёжа, – сказал он, – я попрошу у хозяина лошадь и роспуски, и он доведёт нас с тобой до Ика. Мы там поудим. Как только солнце станет садиться, я пришлю тебя с Ефремом. А сам я ворочусь, когда уж будет темно. Просись у матери», – прибавил он, смотря с улыбкою в глаза моей матери. Я не говорил ни слова, но когда мать взглянула на меня, то прочла всё на моем лице. Она почувствовала невозможность лишить меня этого счастья и с досадой сказала отцу: «Как тебе не стыдно взманить ребенка? Ведь он опять так же взволнуется, как на Дёме!» Тут я получил употребление языка и принялся горячо уверять, что буду совершенно спокоен; мать с большим неудовольствием сказала: «Ступай, но чтоб до заката солнца ты был здесь». Так неохотно данное позволение облило меня холодной водой. Я хотел было сказать, что не хочу ехать, но язык не повернулся. Через несколько минут всё было готово: лошадь, удочки и червяки, и мы отправились на Ик. Впоследствии я нашёл, что Ик ничем не хуже Дёмы; но тогда я не в состоянии был им восхищаться: мысль, что мать отпустила меня против своего желания, что она недовольна, беспокоится обо мне, что я отпущен на короткое время, что сейчас надо возвращаться, – совершенно закрыла мою душу от сладких впечатлений великолепной природы и уже зародившейся во мне охоты, но место, куда мы приехали, было поистине очаровательно! Сажень за двести повыше Ик разделялся на два рукава, или протока, которые текли в весьма близком расстоянии друг от друга. Разделённая вода была уже не так глубока, и на обоих протоках находились высокие мосты на сваях; один проток был глубже и тише, а другой – мельче и быстрее. Такая же чудесная урёма, как и на Дёме, росла по берегам Ика. Протоки устремлялись в глубь ее и исчезали в густой чаще деревьев и кустов. Далее, по обеим сторонам Ика, протекавшего до сих пор по широкой и открытой долине, подступали горы, то лесистые, то голые и каменистые, как будто готовые принять реку в свое владенье.

Отец мой выбрал место для ужения, и они оба с Евсеичем скоро принялись за дело. Мне также дали удочку и насадили крючок уже не хлебом, а червяком, и я немедленно поймал небольшого окуня; удочку оправили, закинули и дали мне держать удище, но мне сделалось так грустно, что я положил его и стал просить отца, чтоб он отправил меня с Евсеичем к матери. Отец удивился, говорил, что ещё рано, что солнышко ещё целый час не сядет, но я продолжал проситься и начинал уже плакать. Отец мой очень не любил и даже боялся слёз, и потому приказал Евсеичу отвезти меня домой, а самому поскорее воротиться, чтобы вечер поудить вместе.

Мое скорое возвращение удивило, даже испугало мать. «Что с тобой, – вскрикнула она, – здоров ли ты?» Я отвечал, что совершенно здоров, но что мне не захотелось удить. По нетвердому моему голосу, по глазам, полным слёз, она прочла всё, что происходило в моём сердце. Она обняла меня, и мы оба заплакали. Мать хотела опять меня отправить удить к отцу, но я стал горячо просить не посылать меня, потому что желание остаться было вполне искренне. Мать почувствовала, что послать меня было бы таким же насилием, как и непозво-

ленье ехать, когда я просился. Евсеич бегом побежал к отцу, а я остался с матерью и сестрой; мне вдруг сделалось так легко, так весело, что, кажется, я ещё и не испытывал такого удовольствия. После многих нежных слов, ласк и разговоров, позаботившись, чтоб хозяйские собаки были привязаны и заперты, мать приказала мне вместе с сестрицей побегать по двору. Мы обежали вокруг пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли там такую диковинку, что я, запыхавшись, с радостным криком прибежал рассказать о ней матери. Дело состояло в том, что с задней стороны, из середины пригорка, бил родник; чувашенин подставил колоду, и как все надворные строения были ниже родника, то он провёл воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в огромное корыто, или выдолбленную колоду, для мытья белья, и в-третьих, в хлевы, куда загонялся на ночь скот и лошади. Всё это привело меня в восхищение, и обо всём я с жаром рассказал матери. Мать улыбалась и хвалила догадливость чувашенина, особенно выгодную потому, что речка была довольно далеко. В дополнение моего удовольствия мать позволила мне развести маленький костёр огня у самой кареты, потому что наш двор был точно поле. Великолепно опускалось солнце за тёмные Икские горы. Мы напились чаю, потом поужинали при свете моего костра. Отец ещё не возвращался. Несколько раз мелькала у меня в голове мысль: что-то делается на берегу Ика? Как-то клюёт там рыба? Но эти мысли не смущали моего радостного, светлого состояния души. Какой был вечер! Каким чудным светом озаряла нас постепенно угасающая заря! Как темнела понемногу вся окрестность! Вот уже и урёма Ика скрылась в белом тумане росы, и мать сказала мне: «Видишь, Серёжа, как там сыро, – хорошо, что мы не там ночуем». Отец все ещё не возвращался, и мать хотела уже послать за ним, но только что мы улеглись в карете, как подошёл отец к окну и тихо сказал: «Вы ещё не спите?» Мать попеняла ему, что он так долго не возвращался. Рыбы поймали мало, но отец выудил большого жереха, которого мне очень захотелось посмотреть. Евсеич принес пук горящей лучины, и я, не вылезая из кареты, полюбовался на эту славную рыбу. Отец перекрестил меня и сел ужинать. Еще несколько слов, несколько ласк от матери – и крепкий сон овладел мною.

Мы никогда ещё не поднимались так рано с ночлега, потому что рано остановились. Я впросонках слышал, как спустили карету с пригорка, и совсем проснулся, когда сел к нам отец. Мысль, что я сейчас опять увижу Ик, разгуляла меня, и я уже не спал до солнечного восхода. При блеске как будто пылающей зари подъехали мы к первому мосту через Ик; вся урёма и особенно река точно дымилась. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шёпотом сказав мне, что сырость вредна для матери; но и сквозь стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завёртывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез, и первый луч солнца проник почти сзади в карету и осветил лицо спящей против меня моей сестрицы. Через несколько минут мы все уже крепко спали. Рано поднявшись, довольно рано приехали мы и на кормёжку в большое мордовское селение Коровино. Там негде было кормить в поле, но как мать моя не любила останавливаться в деревнях, то мы расположились между последним двором и околицей. Славного жереха, доведённого в мокрой траве совершенно свежим, сварили на обед. Мать только что отведала и то по просьбе отца: она считала рыбу вредною для себя пищей. Мне тоже дали небольшой кусочек с ребер, и я нашёл его необыкновенно вкусным, что утверждал и мой отец. Выкормив лошадей, мы вскоре после полдён, часу во втором, пустились в путь. Это был последний переезд до Багрова, всего тридцать пять вёрст. Мы торопились, чтоб приехать пораньше, потому что в Коровине, где все знали и моего дедушку, и отца, мы услышали, что дедушка нездоров. В продолжение дороги мы два раза переехали через реку Насягай по весьма плохим мостам. Первый мост был так дурён, что мы должны были все выйти из кареты, даже лошадей уносных отложили и на одной паре коренных, кое-как, перетаскивали нашу тяжёлую и нагруженную карету.

Тут Насягай был еще невелик, но когда, вёрст через десять, мы переехали его в другой раз, то уже увидели славную реку, очень быструю и глубокую, но всё он был, по крайней мере, вдвое меньше Ика и урёма его состояла из одних кустов. Солнце стояло еще очень высоко, «деревя в два», как говорил Евсеич, когда мы с крутой горы увидели Багрово, лежащее в долине между двух больших прудов, до половины заросших камышами, и с одной стороны окружённое высокими берёзовыми рощами. Я всё это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута, карету надобно было подтормозить, и отец пошёл со мною пешком. Не знаю отчего, сердце у меня так и билось. Когда мать выглянула из окошка и увидала Багрово, я заметил, что глаза её наполнились слезами и на лице выразилась грусть; хотя и прежде, вслушиваясь в разговоры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и что ей неприятно туда ехать, но я оставлял эти слова без понимания и даже без внимания и только в эту минуту понял, что есть какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец также сделался невесел. Мне стало грустно, и я с большим смущением сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца дома, который показался мне печальным и даже маленьким в сравнении с нашим уфимским домом.

Багрово

Бабушка и тётушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и так же повязанная платком, как наша нянька Агафья, а тётушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости.

К дедушке сначала вошёл отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтоб мы были смиренны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание, вместе с недостаточно ласковым приёмом, так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили её горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем как мы с самого прихода в залу её и не видали, а слышали только бормотанье и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки; он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», – сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтоб мы её поцеловали. «Не разгляжу теперь, – продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою, – на кого похож Серёжа: когда я его видел, он ещё ни на кого не походил. А Надежа, кажется, похожа на мать. Завтра, бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети, чать, с дороги кушать хотят; покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде».

Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось; но мать сказала, что она сливок и жирного нам не даёт и что мы чай пьём постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка, – говорила бабушка, – что твои детки едят и чего не едят: а то ведь я не знаю, чем их потчевать; мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тётушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно; что она потому не даёт мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещенья одну из двух комнат: или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтоб не было беспокойно сестрице от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тётушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет, – и мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Фёдором сейчас ее собрали и поставили, а Параша повесила очень красивый, не знаю, из какой материи, кажется, кисейный занавес; знаю только, что на нём были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать; на окошки повесили такие же гардины – и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг и всё это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него поси-

деть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Оставшись одни в новом своём гнезде, мы с сестрицей принялись болтать; я сказал одни потому, что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне невесело в Багрове, что я боюсь дедушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу, и много тому подобного; но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец, сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко; отцу же постлали на канаве. Я тоже лёг. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампы, теплившейся перед образом, что отец лежит на своём канаве, а мать сидит подле него и плачет.

Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шёпотом, и я не мог расслушать в связи всех её речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставляю? На кого? Я умру с тоски; никакой доктор мне не поможет», – а также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захворает, ты непременно завтра сляжешь в постель...» – слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новою для меня, но как будто до сих пор не понимаемою; она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать, по усиленным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим; но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать.

Оправдалось предсказание моего отца! Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала: у неё разлилась желчь и была лихорадка; она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною... страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слёзы огорчат больную, что это будет ей вредно – и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса, за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать; я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чём дело, и не встревожу больную.

Отец ходил к бабушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тётюшка разливала чай, няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принёс мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова; мы с сестрой (да и все) очень их любили, но теперь крендель не пошёл мне в горло, и, чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тётюшкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели её к бабушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось ту же минуту: тётюшка прибежала, говоря, что бабушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Серёжа, ступай к бабушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умён и ласков с бабушкой», – и глаза её наполнились слезами. Каково же было мне идти! Отец остался с матерью, а тётюшка повела меня за руку. Видно, много страдания и страха выражалось на моём лице, потому что тётюшка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Серёжа! Бабушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слёзы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог бабушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками... Как это странно! Эти

кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил её на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Серёжа», – и протянул руку. Я поцеловал её. «Что это у тебя глаза красны? Ты, никак, плакал, да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку?» – «Маменька больна», – сказал я, собрав все силы, чтоб не заплакать. Тут бабушка и тётушка принялись рассказывать, что я ужасно как привязан к матери, что не отхожу от неё ни на пядь и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде; но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. «Знаете ли, на кого похож Серёжа? – громко и весело сказал он. – Он весь в дядю, Григорья Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Серёжа. Мать выздоровеет. Ведь это не смертное», – и начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, наконец сказал, как-то значительно посмотрев на бабушку и тётушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней, только не шуми, не беспокой её и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полог, когда захочется плакать; поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услышав мои скорые шаги, но, увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями моё пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты; отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая моё горячее и обстоятельное описание кресел. «Слава богу, – сказала мать, – я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его...» Я отвечал, что люблю и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему; но мать возразила, что этого не нужно, и просила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него: ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приёмом дедушки, но всё мне казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас – а потому он и неласков.

Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по Бухану, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. «Как я глупа», – сказала мать как будто про себя и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавя, что «клюквы у них много: им каждый год, по первому зимнему пути, по целому возу привозят её из Старого Багорова». Потом мать приказала привязать к своей голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его к себе в рот; потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за «Детское чтение», и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду, между разросшимися, старыми, необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал; я заметил, как выпархивали из них птички с красно-жёлтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пёстрая кошка – и мне очень захотелось туда.

Как только мать проснулась и сказала, что ей немножко получше, вошёл отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой; мать позволила, приказав не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своём любезном Бугуруслане и мне хотелось посмотреть на него поближе. В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большею частью померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками; всё

это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью и проч. Вдобавок ко всему везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли «копром», наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты... Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь, и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или берёзовых аллей и несчастных ёлок, из которых вырезают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река, или речка, которая вдруг поворачивала налево, и таким образом, составляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал её, очень ласкал и, наконец, послал гулять в сад, – как прибежал Евсеич и позвал нас обедать; в это время, то есть часу в двенадцатом, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в третьем; но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против себя, а как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел не много пониже. Я вспомнил, что, воротившись из сада, не был у матери, и стал проситься сходить к ней; но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтоб я перестал проситься и что я схожу после обеда; он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал, – и я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николавна ничего такого детям не дает и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал: «Ну, так пусть отец кормит их как знает». Сам он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то, что первый день как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал: «Как нехорошо пахнет!» Отец дёрнул меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить, но дедушка слышал мои слова и сказал: «Эге, брат, какой ты неженка». Бабушка и тётушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашёл к моей матери, которая лежала в постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почивать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть: отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали, что теперешняя её болезнь дело случайное, что она скоро пройдет и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. Я вспомнил, как сам просил ещё в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться; но слова, слышанные мною в прошедшую ночь: «Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет», – поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровою. Всё это я объяснял ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами; но для матери моей не трудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить, и я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного: скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит её доктор. С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать, а если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня долее обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем; даже отпускала с отцом на мельницу и на остров.

Пруд и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как бы понравились в другое время и как горячо полюбил я их впоследствии.

Через несколько дней мать встала с постели; её лихорадка и желчь прошли, но она ещё больше похудела и глаза её пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно собираться в Оренбург и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми; боится беспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто с сердцем, что это всё пустяки, что ведь дети не чужие и что кому же, как не родной бабушке и тётке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас не благонадёжна и что уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал: «Ну что же, хорошо; Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами: она знала, что Акси́нья недобрая. Дедушка с неудовольствием промолвил: «Ну, как хочешь; я ведь с своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тётушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и, в случае нездоровья, не лечить обыкновенными их лекарствами: гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тётушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже не скрывали этого, обещали, покорясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает. Это было поручено тётушке Татьяне Степановне, которая всё-таки была добрее других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстающейся с маленькими детьми.

Всё это время, до отъезда матери, я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледною, худую и слабою, я желал только одного, чтоб она ехала поскорее к доктору; но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собою матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тётушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что моё сердце к ним не лежало, овладевали мной, и моё воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал всё, чем тогда занимался: книжки, камешки, оставлял даже гулянье по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтоб она не ездила или взяла нас с собою; но больное её лицо заставляло меня опомниться, и желанье, чтоб она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы поместиться в ней; но мать никогда не имела этого намерения и ещё в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом; это намеренье ни разу не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность переменить его.

Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощанье я уже не умел совладеть с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали; мать также. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришёл в иступленье, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком: «Маменька, воротись!» Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить; я успел перебежать через двор и выбежать на улицу; Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа; он схватил меня и, крепко держа на руках, принёс домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тётушка шла к нам навстречу; она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слушал, кричал, плакал и старался вырваться

из крепких рук Евсеича. Когда он взошёл на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь. О чём плачешь? мать воротится, не останется жить в Оренбурге». И я присмирел. Дедушка пошёл в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь. Много будет нам хлопот: дети очень избалованы». Тётушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную и я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тётушка, Евсеич и нянька Агафья употребляли все усилия, чтоб успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами: Евсеич пробовал остановить мои слёзы рассказами о дороге, о Дёме, об уженье и рыбках, но всё было напрасно; только утомившись от слёз и рыдания, я, наконец, сам не знаю как, заснул.

Пребывание в Багрове без отца и матери

И с лишком месяц прожили мы с сестрицей без отца и матери, в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключённые в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода и гулянье наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невесёлая жизнь: как скоро мы просыпались, что бывало всегда часу в восьмом, нянька водила нас к дедушке и бабушке; с нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили, потом отсылали нас в нашу комнату; около двенадцати часов мы выходили в залу обедать; хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешана ковром, и мы проходили через коридор, из которого тогда ещё была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки, всегда на высоких подушках; иногда он бывал весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую называл козулькой; а иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил; бабушка и тётушка также молчали, и мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешёптываться между собой; но Евсеич, который всегда стоял за моим стулом, сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал; то же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, невесел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в шесть часов приносили нам чай; часов в восемь обыкновенно ужинали, и нас точно так же, как к обеду, вводили в залу и сажали против дедушки; сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тётушка и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и, наконец, совсем перестала. Мы только и видались с нею и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здорованье и вечернем прощанье. Сначала заглядывали к нам, под разными предлогами, горничные девчонки и девушки, даже дворовые женщины, просили у нас «поцеловать ручку», к чему мы не были приучены и потому не соглашались, кое о чем спрашивали и уходили; потом все совершенно нас оставили, и, кажется, по приказанью бабушки или тётушки, которая (я сам слышал) говорила, что «Софья Николавна не любит, чтоб лакеи и девки разговаривали с её детьми». Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила, но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал моё чтение. Тут-то мы ещё больше сжились с милой моей сестрицей, хотя она была так ещё мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят, а я понимал это совершенно; оттого она была смелее и веселее меня и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и тёткой; ее и любили за то гораздо больше, чем меня, особенно дедушка; он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел, но не завидовал милой сестрице, во-первых, потому, что очень любил её, и, во-вторых, потому, что у меня не было расположения к дедушке и я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должно сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки: я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами; я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные и жалобные крики. Нянька Агафья не замедлила мне всё объяснить, хотя добрый Евсеич пенял, зачем она рассказывает дитяти то, о чем ему и знать не надо.

И так не приметно устроился у нас особый мир в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провёл в беспрестанной тоске и слезах, но мало-помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить читать маленькую сестрицу, и совершенно без пользы, потому что во всё время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял ее слушать «Детское чтение», читая сряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал.

Бедная слушательница моя часто зевала, напряженно устремив на меня свои прекрасные глазки, и засыпала иногда под моё чтение; тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяевами были её куклы; самая любимая её игра была игра «в гости»: мы садились по разным углам, я брал к себе одну или две из её кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами; тут было много разговоров и угощений, полное передразнивание больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, некоторым основанием или образцом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия. Так, например, я рассказывал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка (то есть с двумя куклами, которых держал в руках); или что на меня напали разбойники и я всех их победил; наконец, что в багровском саду есть пещера, в которой живёт Змей Горыныч о семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу и что мне иногда удавалось даже напугать её; одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и всё видела во сне то разбойников, то Змея Горыныча и прибавляла, что это братец её напугал. Няня погрозила мне, что пожалуется дедушке, и я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тётушки перебивали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна; она произвела на меня самое неприятное впечатление, а также и муж её, который, однако, нас с сестрой очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тётушка совсем нас не любила, все насмехалась над нами, называла нас городскими неженками и, сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом. Её муж бывал иногда как-то странен и даже страшен: шумел, бранился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тётушки зажимали ему рот руками и пугали, что дедушка идёт, чего он очень боялся и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тётушка была Акинья Степановна, крёстная моя мать; это была предобрая, нас очень любила и очень ласкала, особенно без других; она даже привезла нам гостинца, изюма и черносливу, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтоб никто не видал; она пожурила няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николавне, в каком виде нашла детей; мы очень обрадовались её ласковым речам и очень её полюбили. Одно смущало меня: приказанье есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать, и я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тётушка, Елизавета Степановна, которую все называли генеральшей, приезжала на короткое время; эта тётушка была прегордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собою двух дочерей, которые были постарше меня; она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через три уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятною, но вышло совсем не так, и положение наше стало ещё грустнее, по крайней мере, моё. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами; их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами; им даже чай наливали слаще, чем нам: я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чём не были виноваты: они чуждались нас, но, как их научали и как им приказывали, так они и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дьячком. Они были в доме *свои*: вся девичья и вся дворня их знала и любила, и им было очень весело, а на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шёпот и сдержанный смех, а иногда и хохот и возню; Евсеич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален по обеим сторонам широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть, и мне самому иногда хотелось; но у

меня не доставало для этого смелости, да и мать, уезжая, запретила нам входить в какие-нибудь игры или разговоры с багровской прислугой. Евсеич в продолжение этих тяжёлых пяти недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читывал ему иногда «Детское чтение». Однажды я прочёл ему «Повесть о несчастной семье, жившей под снегом»¹. Выслушав её, он сказал: «Не знаю, соколик мой (так он звал меня всегда), всё ли правда тут написано; а вот здесь в деревне, прошлой зимою, доподлинно случилось, что мужик Арефий Никитин поехал за дровами в лес, в общий колок, всего версты четыре, да и запоздал; поднялся буран, лошадёнка была плохая, да и сам он был плох; показалось ему, что он не по той дороге едет, он и пошёл отыскивать дорогу, снег был глубокий, он выбился из сил, завяз в долочке – так его снегом там и занесло. Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла и пошла шажком, да и пришла домой с возом. Дома Арефья ждали; увидали, что лошадь пришла одна, дали знать старосте, подняли тревогу, и мужиков с десятков поехали отыскивать Арефья. Буран был страшный, зги не видать! поехали, искали, да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездил отыскивать и также ничего не нашла. Уж на третий день, совсем по другой дороге, ехал мужик из Кудрина; ехал он с зверовой собакой, собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать; мужик был охотник, остановил лошадь и подошёл посмотреть, что тут такое есть; и видит, что собака выкопала нору, что оттуда пар идет; вот и принялся он разгребать, и видит, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога, и видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло; он знал про Арефья и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арефья, взвалили на сани, прикрыли шубой и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арефий от стужи и снегу ровно проснулся: тогда внесли его в избу, но он всё был без памяти. Уж на другой день пришёл в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придёт на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Арева»². Рассказ об Арефье очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке чего-то просить. Арефья все называли дурачком, и в самом деле он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним потом было.

Я попросил один раз у тётушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что её библиотека состояла из трех книг: из «Песенника», «Сонника» и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. «Песенника» почему-то она не рассудила дать мне, а «Сонник» и театральную пиеску отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил наизусть, что какой сон значит, и долго любил толковать сны свои и чужие, долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в «Соннике» были крайне нелепы, не имели даже никаких, самых пустых, известных в народе, оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров: «Ловить рыбу значит несчастье. Ехать на телеге означает смерть. Видеть себя во сне в навозе предвещает богатство». Театральная пиеска имела двойное название; первого не помню, а второе было: «Драматическая пустельга». И точно, это была

¹ «Детское чтение», часть 1-я.

² Замечательно, что этот несчастный Арефий, не замерзший в продолжение трёх дней под снегом, в жестокие зимние морозы, замёрз лет через двадцать пять в сентябре месяце, при самом лёгком морозе, следовавшем после сильного дождя! Он точно так же ездил в лес за дровами, в тот же общий колок, так же потерял лошадь, которая пришла домой, и так же, вероятно, бродил, отыскивая дорогу. Разумеется, он измок, иззяб и до того, как видно, выбился из сил, что наконец найдя дорогу, у самой околицы, упал в маленький овражек и не имел сил вылезть из него. Осенняя ночь длинна, и потому неизвестно, когда он попал в овражек; но на другой день, часов в восемь утра, поехав на охоту, молодой Багров нашёл его уже мертвым и совершенно окоченевшим.

пустельга... но как она мне понравилась! Начиналась она так: пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом:

Тига, тига, домой,
Тига, тига, за мной.

Помню еще два стишка из другого куплета:

Вот василёк,
Милый цветок.

Больше ничего не помню; знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом.

Дедушка получил только одно письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтоб я лучше мог разобрать; эта записочка доставила мне великую радость. Тут примешивалась новость впечатления особого рода: в первый раз услышал я речь, обращённую ко мне из-за нескольких сот вёрст, и от кого же? От матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор ещё никто ко мне не писал ни одного слова, да я не умел и разбирать писаного, хотя хорошо читал печатное.

Пошла уже пятая неделя, как мы жили одни, и наконец такая жизнь начала сильно действовать на мой детский ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти выражалось не только на моём лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеича. Часто, разогнув «Детское чтение», я задумывался, и моё ребячье воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец и что мы остаёмся жить в Багрове, что нас будут наказывать, оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню (я слышал о наказаниях такого рода) и что, наконец, и мы с сестрицей оба умрём. Воображаемые картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь весёлым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которая в ожидании молодых господ (так называли в доме моего отца и мать) начала долее оставаться с нами, — не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговариванья и утешенья не имели успеха. На вопросы, о чём мы плачем, я отвечал, что «верно, маменька больна или умирает»; а сестрица отвечала, что «ей жалко, когда братец плачет». Сказали о наших слезах тётушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тётушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что её ждут каждый день; но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тётушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ: «Вы нарочно так говорите». Тётушка с досадою ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, он довольно сурово сказал мне: «Я слышу, что ты все хнычешь, ты плакса, а глядя на тебя, и козулька плачет. Чтоб я не слышал о твоих слезах». Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали, и точно, я не смел плакать весь этот день, но зато проплакал почти всю ночь. Дедушки я стал бояться еще более.

В подражание тётушкиным словам и Евсеич и нянька беспрестанно повторяли: «Маменька здорова, маменька сейчас приедет, вот уж она подъезжает к околице, и мы пой-

дем их встречать...» Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление, сердце у меня так и билось, но потом мне было досадно их слушать. Прошло ещё два дня; тоска моя ещё более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг: часто она просила меня поиграть с ней, или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или читать, и мы молча, печально смотрели друг на друга, и глаза наши наполнялись слезами. В один из таких скучных, тяжёлых дней вбежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: «Молодые господа едут!» Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеича и няньки, но всё странно, что я так недоверчиво обрадовался; впрочем, слава богу, что так случилось: если б я совершенно поверил, то, кажется, сошёл бы с ума или захворал; сестрица моя начала прыгать и кричать: «Маменька приехала, маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, встревоженным голосом спросила: «Взаправду, что ли?» – «Взаправду, взаправду, уж близко, – отвечала Феклуша, – Ефрем Евсеич побежал встречать», – и сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих нас за руки и повела в лакейскую; двери были растворены настежь, в сенях уже стояли бабушка, тётушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти; подъехала карета, в окошке мелькнул образ моей матери – и с этой минуты я ничего не помню... Я очнулся или почувствовался уже на коленях матери, которая сидела на канапе, положив мою голову на свою грудь. Вот была радость, вот было счастье!

Как только я совсем оправился и начал было расспрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться: испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеичу сказать, чтоб он меня привёл к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тётушка и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел или, лучше сказать, не помнил, что видел отца, а потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать. «А, так ты так же и отца любишь, как мать, – весело сказал дедушка, – а я думал, что ты только по ней соскучился. Ну, Софья Николавна, – продолжал он, – сынок твой плакса, на всех тоску нагнал, и козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько, так он поунялся». Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удивлением смотрел на неё: когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: «Маменька приехала, тятенька приехал!» – а потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к дедушке, к отцу, к бабушке и к другим; даже вскарабкалась на колени к дедушке.

Отец с матерью приехали перед обедом часа за два. После обеда все разошлись, по обыкновению, отдыхать, а мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно всё время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвести мой рассказ над сердцем горячей матери; не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если б я и понимал, я бы всё рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренности. Несколько раз мать перерывала мой рассказ; глаза её блестели, бледное её лицо вспыхивало румянцем, и прерывающимся от волнения голосом начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова; но отец всякий раз останавливал её знаком и успокаивал словами: «Побереги себя, ради бога, пожалей Серёжу. Что он должен подумать?..» И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в залу, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть; но я скоро дога-

дался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. Я даже слышал сквозь запертую и завешанную дверь сначала выразительный и явственный шёпот, а потом и жаркий разговор вполголоса, причём иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только вполовину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тётушку и что мой отец за них заступает; из всего этого я вывел почему-то такое заключение, что мы должны скоро уехать, в чем и не ошибся.

Я, в свою очередь, расспросил также отца и мать о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Деобольт не нашёл никакой чахотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить её; что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях и доктор принужден был её отпустить; что он дал ей лекарств на всю зиму, а весной приказал пить кумыс, и что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и Евсеичем будем там удить рыбку. Всё это меня успокоило и обрадовало, особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменька стала здоровее и крепче. Робость моя вдруг прошла, и печальное Багрово как будто повеселело. Мне показалось даже, а может быть, оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласковее, внимательнее и больше заботились о нас. По ребячеству моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове дедушка точно полюбил меня, и полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня баловнем матери, матушкиным сыном, который отца своего не любит, а родных его и подавно, и всем в Багрове «брезгует»; очевидно, что это было ему насказано, а моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях. Теперь же, когда он приласкал меня, когда прошёл мой страх и тоска по матери, когда на сердце у меня повеселело и я сам стал к нему ласкаться, весьма естественно, что он полюбил меня. В несколько дней я как будто переродился; стал жив, даже резв; к дедушке стал бегать беспрестанно, рассказывать ему всякую всячину и сейчас попотчевал его чтением «Детского чтения», и всё это дедушка принимал благосклонно; угрюмый старик также как будто стал добрым и ласковым стариком. Я живо помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у него на коленях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины прыгивала на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала и потом возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени; на вопрос же его: «Что ты, козулька, вскочила?» – она отвечала: «Захотелось братца поцеловать». Одним словом, у нас с дедушкой образовалась такая связь и любовь, такие прямые сношения, что перед ними все отступили и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях, а мы у дедушки на кровати; видя, что он не обращает на них никакого внимания, а занимается нами, генеральские дочери (как их называли), соскучась молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее.

Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из её разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тётушкой, или, просто сказать, ссорилась с ними, и что бабушка отвечала: «Нет, невестушка, не взыщи; мы к твоим детям и приступить не смели. Где нам мешаться не в свое дело? У вас порядки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень ее бранила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень её жаль, а в то же время она все говорила неправду; клялась и божилась, что от нас и денно и нощно не отходила и ссылалась на меня и на Евсеича. Я попробовал даже сказать ей: «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на неё нападать, и заплакала навзрыд. Я стал в тупик; мне приходило даже в голову: уж в самом деле не солгал ли я на няньку Агафью; но Евсеич, который в глаза

уличал её, что она всё бегала по избам, успокоил мою робкую ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках и что, приехав в Уфу, непременно её отпустит.

Начали поспешно собираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошёл, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тётушка Акси́нья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тётушке и очень к ней ласкались. Моя мать, при дедушке и при всех, очень горячо её благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла её, что, покуда жива, не забудет её родственной любви. Как я ни был мал, но заметил, что бабушка и тётушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил: «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Акси́нью Степановну, и не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь уж ты выговорила своё неудовольствие и матушке и сестре; зачем же их подводить под гнев? Ведь мы завтра уедем». Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила её со слезами и целовала её руки.

Наконец мы совсем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал: «Жаль, что уж время позднее, а то бы ещё с недельку надо вам погостить. Невестыньке с детьми было беспокойно жить; ну, да я пристрою ей особую горницу». Все прочие прощались не один раз; долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку.

Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уже совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная, останавливаться в поле было невозможно, а потому кормёжки и ночёвки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили; у татар ещё было лучше, потому что у них избы были *белые*, то есть с трубами, а в курных избах чуваш и мордвы кормёжки были нестерпимы: мы так рано выезжали с ночёвок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда ещё топились печи; надо было лежать на лавках, чтоб не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтоб мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологу, прикрытые теплым одеялом; у матери от дыму с непривычки заболели глаза и проболели целый месяц. Только в шестой день приехали мы в Уфу.

Зима в Уфе

После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, Сурке, который мне также очень обрадовался, и свободе – бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась: это были ее родные братья, Сергей Николаич и Александр Николаич; они служили в военной службе, в каком-то драгунском полку, и приехали в домовый отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей; оба очень молодые, красивые, ласковые и весёлые, особенно Александр Николаич: он шутил и смеялся с утра и до вечера и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, в университетском благородном пансионе, любили читать книжки и умели наизусть читать стихи; это была для меня совершенная новость: я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему дядя Сергей Николаич очень любил рисовать и хорошо рисовал; с ним был ящичек с соковыми красками и кисточками... одно уж это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинки, а рисование их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным: я смотрел на дядю Сергея Николаича как на высшее существо.

Хотя печальное и тягостное впечатление житья в Багрове было ослаблено последнюю неделю нашего там пребывания, хотя длинная дорога также приготовила меня к той жизни, которая ждала нас в Уфе, но, несмотря на то, я почувствовал необъяснимую радость и потом спокойную уверенность, когда увидел себя перенесённым совсем к другим людям, увидел другие лица, услышал другие речи и голоса, когда увидел любовь к себе от дядей и от близких друзей моего отца и матери, увидел ласку и привет от всех наших знакомых. Это произвело на меня такое действие, что я вдруг, как говорили, развернулся, то есть стал смелее прежнего, тверже и бойчее. Все говорили, что я переменялся, что я вырос и поумнел. Должно признаться, что, слыша такие отзывы, я стал самолюбивее и самонадеяннее.

Дяди мои поместились в отдельной столовой, из которой, кроме двери в залу, был ход через общую, или проходную, комнату в большую столярную; прежде это была горница, в которой у покойного дедушки Зубина помещалась канцелярия, а теперь в ней жил и работал столяр Михей, муж нашей няньки Агафьи, очень сердитый и грубый человек. Я прежде о нём почти не знал; но мои дяди любили иногда заходить в столярную подразнить Михея и забавлялись тем, что он сердился, гонялся за ними с деревянным молотком, бранил их и даже иногда бивал, что доставляло им большое удовольствие и чему они от души хохотали. Мне тоже казалось это забавным, и не подозревал я тогда, что сам буду много терпеть от подобной забавы.

Здоровье моей матери видимо укреплялось, и я заметил, что к нам стало ездить гораздо больше гостей, чем прежде; впрочем, это могло мне показаться: прошлого года я был ещё мал, не совсем поправился в здоровье и менее обращал внимания на всё происходившее у нас в доме. Всех знакомых ездило очень много, но я их мало знал. Мне хорошо известны и памятливы только те, которые бывали у нас почти ежедневно и которые, как видно, очень любили моего отца и мать и нас с сестрицей. Это были: старушка Мертваго и двое её сыновей – Дмитрий Борисович и Степан Борисович Мертваго, Чичаговы, Княжевичи, у которых двое сыновей были почти одних лет со мною, Воецкая, которую я особенно любил за то, что её звали так же как и мою мать, Софьей Николавной, и сестрица её, девушка Пекарская; из военных всех чаще бывали у нас генерал Мансуров с женою и двумя дочерьми, генерал граф Ланжерон и полковник Л. Н. Энгельгардт; полковой же адъютант Волков и другой офицер Христофович, которые были дружны с моими дядями, бывали у нас каждый день; доктор Авенариус – также: это был давнишний друг нашего дома. С детьми Княже-

вичей и Мансуровых мы были дружны и часто вместе играли. Дети Княжевичей были молодцы, потому что отец и мать воспитывали их без всякой неги; они не знали простуды и ели всё, что им вздумается, а я, напротив, кроме ежедневных диетных кушаний, не смел ничего съесть без позволения матери; в сырую же погоду меня не выпускали из комнаты. Надо вспомнить, что я года полтора был болен при смерти, и потому не удивительно, что меня берегли и нежили; но милая моя сестрица даром попала на такую же диету и береженье от воздуха. Иногда гости приезжали обедать, и боже мой! как хлопотала моя мать с поваром Макеем, весьма плохо разумевающим свое дело. Миндальное пирожное всегда приготавливала она сама, и смотреть на это приготовление было одним из любимых моих удовольствий. Я внимательно наблюдал, как она обдавала миндаль кипятком, как счищала с него разбухшую кожицу, как выбирала миндалины только самые чистые и белые, как заставляла толочь их, если пирожное приготавлилось из миндального теста, или как сама резала их ножницами и, замесив эти обрезки на яичных белках, сбитых с сахаром, делала из них чудные фигурки: то венки, то короны, то какие-то цветочные шапки или звёзды; всё это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом, совершенно готовым и поджарившимся. Мать, щегольски раздетая, по данному ей от меня знаку, выбегала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, снимала бережно ножичком чудное пирожное с железного листа, каждую фигурку окропляла малиновым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к своим гостям. Сидя за столом, я всегда нетерпеливо ожидал миндального блюда не столько для того, чтоб им полакомиться, сколько для того, чтоб порадоваться, как гости будут хвалить прекрасное пирожное, брать по другой фигурке и говорить, что «ни у кого нет такого миндального блюда, как у Софьи Николаевны». Я торжествовал и не мог спокойно сидеть на моих высоких кресельцах и непременно говорил на ухо сидевшему подле меня гостю, что всё это маменька делала сама. Я помню, что гости у нас тогда бывали так веселы, как после никогда уже не бывали во всё остальное время нашего житья в Уфе, а между тем я и тогда знал, что мы всякий день нуждались в деньгах и что всё у нас в доме было беднее и хуже, чем у других. Из военных гостей я больше всех любил сначала Льва Николаевича Энгельгардта: по своему росту и дородству он казался богатырем между другими и к тому же был хорош собою. Он очень любил меня, и я часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушая его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик с округлёнными концами и с надписью: «Очаков взят 1788 года 6 декабря». Я сказал, что любил его сначала; это потому, что впоследствии я его боялся, — он напугал меня, сказав однажды: «Хочешь, Серёжа, в военную службу?» Я отвечал: «Не хочу». — «Как тебе не стыдно, — продолжал он, — ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером. Хочешь в гренадёры? Я привезу тебе гренадёрскую шапку и тесак...» Я перепугался и убежал от него. Энгельгардт вздумал продолжать шутку и на другой день, видя, что я не подхожу к нему, сказал мне: «А, трусишка! ты боишься военной службы, так вот я тебя насильно возьму...» С этих пор я уж не подходил к полковнику без особенного приказания матери, и то со слезами. В этом страхе утверждал меня мальчик-товарищ, часто к нам ходивший, кривой Андрюша, сын очень доброй женщины, преданной душевно нашему дому. Он был старше меня, и я ему верил. Потом мне казалось, что он нарочно пугал меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.